



Папос давай поговор

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Папа, давай поговорим

«Автор»

2026

Патрушев С.

Папа, давай поговорим / С. Патрушев — «Автор», 2026

Арсений Стрельцов — успешный столичный бизнесмен, человек, который сделал себя сам. У него дорогая квартира, престижная работа и безупречная жизнь, в которой нет места прошлому. Но один телефонный звонок из родного города всё меняет: отец, с которым он не разговаривал двадцать лет, умирает в реанимации. Арсений садится в машину и едет туда, куда поклялся никогда не возвращаться. Всю дорогу он репетирует разговор, который вёл в своей голове десятилетиями, — разговор, полный гнева, обид и невысказанной боли. Реальность оказывается сложнее. В пустой отцовской квартире среди старых фотографий и пыльных книг Арсений находит дневник, который переворачивает всё, что он знал о своём отце. Оказывается, молчаливый и суровый человек, сломавший ему детство, сам когда-то был мальчиком, писавшим стихи и мечтавшим о любви. Травма ходит по кругу — и теперь Арсению предстоит решить, сможет ли он разорвать эту цепь, пока не стало слишком поздно.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. «Папа, давай поговорим»	5
Глава 2. «Алфавит молчания»	14
Глава 3. «Слова, которых не было»	20
Глава 4. «Артефакты прошлого»	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Патрушев

Папа, давай поговорим

Глава 1. «Папа, давай поговорим»

Новость не имела цвета, запаха и вкуса. Она вообще не была похожа на новость — скорее на глухой удар под водой, когда не понимаешь, откуда пришла волна и почему вдруг перехватило дыхание. Арсений стоял у панорамного окна своей кухни и смотрел, как внизу, в двадцатизэтажной пропасти, переливается вечерняя Москва. В такие моменты он обычно чувствовал себя властелином мира, но сегодня всё было иначе.

Телефон завибрировал ровно в тот момент, когда штопор с характерным хрустом вошел в пробку «Сансерра». Арсений любил этот звук — сухой, многообещающий, похожий на щелчок взводимого курка. Он всегда открывал вино по средам, даже если не планировал пить больше бокала. Ритуал. Именно из ритуалов, как он давно убедился, и состоит взрослая, осмысленная жизнь, в которой нет места хаосу и случайным звонкам из прошлого.

Номер на экране высветился с кодом 4732. Арсений замер. Этот код он не видел двадцать лет, но узнал мгновенно, как узнают запах лекарств из детства или вкус школьной булочки за девять копеек. Код его родного города. Места, которое в его личной географии давно значилось под грифом «архивировано, уничтожить по истечении срока давности».

Первым порывом было сбросить — и не просто сбросить, а добавить номер в черный список, а заодно выпить сразу два бокала, нарушив все мыслимые ритуалы. Но большой палец, словно повинаясь неведомой, древней программе, заложенной в подкорке задолго до того, как он стал столичным жителем, скользнул по зеленой кнопке.

— Арсений Викторович? — женский голос пробивался сквозь шум помех и гулкое эхо, характерное для учреждений с высокими потолками и голыми стенами. Так звучат вокзалы, суды и больницы.

— Да. Я слушаю вас, — он постарался придать голосу ту особую, металлическую интонацию, которую выработал за годы переговоров. Интонацию человека, который всегда контролирует ситуацию.

— Вас беспокоят из областной клинической больницы номер один. Виктор Ильич Стрельцов приходится вам отцом?

Стрельцов. Фамилия резанула слух, как мелом по школьной доске. Арсений машинально поправил манжет рубашки — жест, который появлялся у него в моменты крайнего напряжения. Да, когда-то очень давно, в другой жизни, он носил эту фамилию. До того как стал просто Арсением Викторовичем в своих публикациях, до того как в его паспорте появился штамп столичной прописки, до того как всё изменилось.

— Формально — да, — ответил он, и сам поморщился от того, насколько по-чиновничьи это прозвучало. «Формально». Будто речь шла о дальнем родственнике, с которым виделся раз в пятилетку на общих похоронах.

— Виктор Ильич в реанимации. Состояние крайне тяжелое. Инсульт. Вы указаны как ближайший родственник. Единственный.

Единственный. Слово ударило под дых. Когда-то их было четверо: отец, мать, он и старший брат. Но брат умер еще в девяносто восьмом — глупая, нелепая смерть: утонул на карьере, будучи пьяным. Мать тихо угасла через десять лет после этого, так и не оправившись от потери. И вот теперь остались только двое. Да и те — по разные стороны баррикад, разделенные временем, расстоянием и такой плотной стеной взаимных обид, что ее не пробила бы и бетонобойная бомба.

— Я понял вас, — Арсений посмотрел на недопитый бокал, в котором играли янтарные блики. — Я приеду. Завтра... сегодня. Скоро.

Он нажал отбой и еще долго стоял, прижимая телефон к груди, словно тот мог взорваться. В квартире было тихо. Идеальная, стерильная тишина дорогого ремонта. Ни скрипа половиц, ни гула труб, ни соседских голосов за стеной — всё это осталось там, в прошлом, где люди жили скученно и шумно, не умея отгораживаться друг от друга ничем, кроме фанерных перегородок.

Арсений прошел в гостиную и сел на диван, не включая свет. В окне пульсировал ночной город — бескрайнее море огней, убегающее к горизонту. Где-то там, за этим морем, за лесными массивами и разбитыми федеральными трассами, лежал другой мир. Маленький, пыльный, провинциальный. Мир, в котором он появился на свет и который поклялся забыть, стереть из памяти, как стирают неудачный черновик.

Он поднялся и направился в спальню. Там, в глубине гардеробной, его ждали ряды безупречных костюмов, каждый в отдельном чехле. Пиджаки «Китон», сорочки «Финомобиле», галстуки «Эрмес». Вся эта роскошь теперь казалась бутафорией, театральным реквизитом. Он, Арсений Стрельцов, сорока двух лет от роду, создатель и владелец агентства «Стратегика», входящего в топ-50 коммуникационных компаний страны, стоял посреди своего гардероба и не мог выбрать, в чем ехать к умирающему отцу. Потому что ни один из этих костюмов не подходил для встречи с прошлым.

В итоге он схватил самое простое: темные джинсы, футболку, старую толстовку с капюшоном, купленную еще в прошлой жизни, когда он ездил в командировку в Берлин и случайно забрел в секонд-хенд. Вещи без статуса. Вещи, в которых он мог бы быть просто человеком, а не «тем самым Стрельцовым из Forbes».

Сборы заняли пятнадцать минут. Кожаная сумка «Берлутти», нелепо дорогая для такого случая, но другой под рукой не оказалось, приняла в себя минимум вещей. Арсений бросил взгляд на часы — начало двенадцатого. Если выехать сейчас, к утру он будет на месте. К тому самому утру, которое может стать последним в жизни Виктора Ильича.

Внизу, в подземном паркинге, пахло резиной, бетонной пылью и каким-то химическим освежителем, который выбирал лично он на собрании жильцов. «Гелендваген» стоял на своем обычном месте, массивный и угловатый, похожий на доисторическое животное. Арсений купил его три года назад, когда понял, что «Порше», на котором он ездил до этого, слишком уязвим для российских дорог. Ему хотелось чувствовать себя защищенным. Хотелось брони. Хотелось машины, которая способна проехать везде, даже по тем колдобинам, что зияют на подъездах к его родному городу.

Консьерж Сергей, отставной майор с выправкой гвардейца, заметил его и вытянулся по стойке смирно:

— Доброй ночи, Арсений Викторович. Никак в командировку на ночь глядя?

— На родину, Серёж. Проветриться.

«Проветриться». Слово вылетело раньше, чем он успел подумать. И повисло в воздухе чем-то фальшивым, заёмным. Консьерж понимающе кивнул, но в его глазах мелькнуло любопытство. За три года службы он ни разу не слышал, чтобы Арсений Викторович упоминал какую-либо родину.

Мотор завелся с полуоборота, утробно заурчал, прогреваясь. Арсений воткнул в держатель телефон, включил навигатор. Маршрут выстроился мгновенно: 587 километров, ориентировочное время в пути — семь часов двадцать минут. Прибытие в 6:45 утра. Если не останавливаться. Если не будет пробок. Если...

Он вырулил на МКАД, и ночной город сразу же обступил его со всех сторон, затягивая в свой бесконечный, гипнотический поток. Рекламные щиты мелькали с ритмичностью метронома: элитные жилые комплексы, премиальные автомобили, банковские услуги. Все то, что составляло его реальность, что было создано такими, как он, — людьми, продающими смыслы и образы. Но сегодня эта реальность казалась ненастоящей, как декорация из папье-маше, за которой прячется серая, обшарпанная стена.

Москва кончилась внезапно. Еще минуту назад за окнами тянулись бесконечные торговые центры и новостройки, а вот уже по бокам — темные перелески и щиты с рекламой придорожных мотелей. Арсений перестроился в левый ряд и прибавил скорость, чувствуя, как тяжелая машина послушно пожирает километры. В салоне было тихо — он намеренно не включал музыку. Тишина была нужна ему, чтобы сосредоточиться. Чтобы подготовиться. Чтобы заново перебрать в голове тот самый разговор, который он вел с отцом вот уже двадцать лет, ни разу не произнеся ни слова вслух.

Разговор этот начался давно. Даже не в тот день, когда он уехал из дома, а гораздо раньше. Пожалуй, в тот самый вечер, когда отец впервые ударил его — не для воспитания, не в сердцах, а холодно, расчетливо, глядя прямо в глаза. Арсению было девять. Он разбил банку с вареньем, полез на антресоли без спроса. И получил не порку, не подзатыльник — а взрослый, тяжелый удар ладонью по лицу, от которого из носа пошла кровь. Мама кричала, пыталась повиснуть у отца на руке, но тот лишь отшвырнул ее и вышел на кухню курить. А Арсений остался сидеть на полу среди осколков стекла и липкой клубничной лужи, чувствуя, как внутри что-то лопается. Какая-то пленочка, защищавшая детство от взрослой жестокости.

С тех пор он начал вести этот разговор. Сначала — мысленно, лежа по ночам в своей комнате и слушая, как за стеной храпит отец. Потом — записывая в дневник обрывки гневных монологов. А когда вырос — научился превращать этот диалог в топливо. В тот самый двигатель, который тащил его вверх, несмотря ни на что.

— Ты меня никогда не слышал, — прошептал Арсений, глядя на убегающую под колеса разметку. — Ты вообще не умеешь слышать никого, кроме себя.

Он помнил, как в седьмом классе принес домой грамоту за первое место в городском конкурсе сочинений. Это был его триумф — его текст, про то, как он видит будущее России, напечатали в «районке». Учительница литературы, Нина Павловна, сухонькая старушка с вечно трясущимися руками, сказала, что у него талант. Талант! Он бежал домой, размахивая газетой, как флагом. Ему казалось, что сейчас всё изменится. Сейчас отец увидит — и наконец поймет, что его сын не пустое место.

Отец сидел на кухне, чинил розетку. Даже не повернулся, когда Арсений, запыхавшись, выпалил новость. Молча выслушал. Потом положил отвертку, взял газету, пробежал глазами по строчкам — и усмехнулся.

— Писатель, мать твою, — сказал он. — Ты бы лучше физику подтянул, чем ерундой маяться. Кому твои писульки нужны? Вон, молоток в руки ни разу не держал, а туда же — в интеллигенцию.

И вернулся к своей розетке. А Арсений стоял в дверях кухни, сжимая в руке газету, и чувствовал, как его триумф превращается в прах. Как слово «талант» становится постыдным. Как желание писать, сочинять, говорить с миром — съедается до размера горошины и закапывается куда-то в самый дальний угол души.

Много лет спустя, уже в Москве, один известный психотерапевт, к которому Арсений ходил ровно три сеанса, сказал ему: «Ваш отец, судя по всему, классический нарцисс с садистическими наклонностями. Он самоутверждался за ваш счет». Арсений тогда посмеялся, оплатил сеанс и больше не пришел. Не потому что терапевт был неправ, а потому что правда эта ничего не меняла. Можно сколько угодно раскладывать детство по полочкам Фрейда, но от этого не исчезнет память о том, как ты стоишь с газетой в руках и чувствуешь себя ничтожеством.

Дорога тянулась бесконечно. За окнами давно уже не было ни поселков, ни заправок — только черный лес стеной с обеих сторон. Фары выхватывали из темноты то кривой дорожный указатель, то выбежавшую на обочину лису с горящими глазами, то остов сгоревшей машины, который никто не удосужился убрать. Арсений любил ночные трассы за их безлюдность. Здесь, на трассе, все равны. Здесь нет должностей, счетов в банке и репутаций. Есть только ты, машина и километры асфальта.

Внутренний диалог продолжался, набирая обороты.

«Ты меня никогда не любил, — мысленно говорил Арсений, и воображаемый отец сидел рядом с ним на пассажирском сиденье — не старый, больной, каким он стал сейчас, а тот, прежний: крепкий мужик лет сорока пяти, с вечной щетиной на щеках и руками в ссадинах от заводского железа. — Ты вообще не знаешь, что такое любовь. Для тебя любовь — это когда человек выполняет твои приказы. Когда удобный. Когда предсказуемый».

«А ты был неудобным, — отвечал воображаемый отец, и голос его звучал ровно, без злобы, почти устало. — Ты с самого начала был не таким, как я хотел. Слишком тонкий. Слишком чувствительный. Слишком много думаешь. А думать в нашей семье было незачем».

Арсений вспомнил еще один эпизод — яркий, словно это случилось вчера. Ему пятнадцать. Он начал слушать странную музыку, которую записывал на кассеты у одноклассника, — «Наутилус», «Кино», «Аквариум». Музыка, в которой были слова, непонятные и манящие,

как запретный плод. Однажды отец зашел в его комнату без стука — он никогда не стучал — и услышал, как из старого магнитофона «Весна» доносится голос Бутусова: «Скованные одной цепью, связанные одной целью».

— Что это за блядство? — спросил отец, и глаза его сузились. — Сними немедленно.

— Это музыка, пап.

— Это не музыка. Это дерьмо. А ты — дерьмо, если это слушаешь.

Он выдернул кассету из магнитофона и разломал ее пополам, прямо перед лицом Арсения. Тонкая коричневая лента разматалась и упала на пол, похожая на внутренности раздавленного животного. Арсений тогда впервые в жизни испытал к отцу настоящую ненависть. Не детскую обиду, не злость — а взрослую, осознанную, почти физическую ненависть, от которой сводило челюсти и темнело в глазах.

«Ты уничтожал всё, что делало мой мир ярче, — продолжал Арсений свой бесконечный монолог. — Мои книги, мои рисунки, мои мечты. Ты как будто специально вытаптывал во мне всё живое, чтобы остался только послушный манекен. Чтобы я стал твоим продолжением, твоим клоном. А когда я отказался — ты объявил мне войну».

Отец в его воображении молчал, и от этого молчания становилось еще страшнее. Потому что в этом молчании была правда — неудобная, неуютная, которую Арсений гнал от себя все эти годы. Да, отец был жесток. Да, он ломал его. Но именно эта ломка сделала Арсения таким, какой он есть. Его стальной хребет, его негибаемая воля, его способность идти к цели, не замечая препятствий, — всё это родом оттуда, из детства, где нужно было выживать. Каждое унижение было уроком. Каждый запрет — стимулом. Каждая насмешка — вызовом. И он принял этот вызов. Он доказал.

Доказал ли?

Трасса снова преподнесла сюрприз — впереди замаячили габаритные огни огромной фуры, которая тащилась в правом ряду со скоростью километров сорок. Арсений перестроился и, поравнявшись с кабиной, на мгновение увидел лицо дальнобойщика — усталое, серое, с красными прожилками на щеках. Человек, который проводит жизнь в дороге. Который возит грузы от границы до границы. Который, возможно, тоже не видел отца много лет. Или, наоборот, каждый вечер возвращается домой, где его ждут.

От этой мысли что-то кольнуло в груди. Его собственный дом не ждал никого. В его квартире на двадцатом этаже было идеально чисто, идеально тихо и идеально пусто. Женщины? Конечно, были. Куда без них? Модели, актрисы, бизнес-леди, однажды даже дочь какого-то федерального чиновника. Все они проходили через его жизнь, оставляя легкий след, как лыжники на свежем снегу. Но ни одна не задерживалась дольше, чем на сезон.

Психотерапевт на том самом третьем сеансе сказал: «Вы боитесь близости, потому что в детстве близость ассоциировалась у вас с болью». Арсений тогда рассмеялся. Боже, какая банальщина! Но потом, ночью, лежа в постели, он понял, что этот мозгоправ в дурацких очках был абсолютно прав. Каждый раз, когда отношения начинали углубляться, когда женщина начинала смотреть на него не как на успешного партнера, а как на человека, которому можно довериться, он включал защитный механизм. Становился холодным, колючим, отстраненным.

Исчезал на неделю, не отвечая на звонки. Или говорил какую-нибудь нарочитую гадость, которая ранила и отталкивала. В общем, делал всё то, что делал его отец.

Самое страшное открытие, которое он сделал годам к тридцати пяти, заключалось в том, что он стал копией Виктора Ильича. Нет, не внешне — внешне он был утончен, ухожен, стилин. Но внутри, в сердцевине своей личности, он был тем же самым человеком: недоверчивым, циничным, не способным на тепло. Отец разрушал его детство — а он теперь разрушал свою взрослую жизнь, просто более изящными методами.

Дождь начался внезапно — тяжелый, летний, какой бывает только в средней полосе. Капли забарабанили по крыше с такой силой, что на мгновение заглушили даже шум мотора. «Дворники» забегали по стеклу, размазывая воду и редких разбившихся мошек. Арсений сбавил скорость, вглядываясь в дорогу. Впереди, сквозь пелену дождя, замаячила вывеска круглосуточной заправки — жёлто-зелёный огонёк в океане мрака.

Он свернул на площадку и заглушил мотор. Нужно было размяться, выпить кофе, привести мысли в порядок. Заправка оказалась пустой — только сонная кассирша за стеклом да парень в униформе, лениво протирающий колонку. Пахло бензином и жареными сосисками. Арсений купил стаканчик эспresso — бурды, если честно, но это было даже кстати. Контраст. Напоминание о том, что не всё в этом мире можно купить за деньги. Хороший кофе на федеральной трассе по-прежнему оставался роскошью.

Он стоял под козырьком, грея руки о бумажный стаканчик, и смотрел, как дождь заливает асфальт. Мысли текли вяло, хаотично. Что он скажет, когда войдет в палату? Если, конечно, застанет отца живым. Эта мысль — что он может не успеть — почему-то не приносила облегчения, хотя когда-то, в пылу юношеской ненависти, он мечтал о том дне, когда узнает о смерти отца. Представлял, как вздохнет свободно. Как наконец-то перестанет оглядываться на невидимого судию. Но сейчас, стоя под дождем на безлюдной заправке, он не чувствовал ничего, кроме странной, сосущей пустоты.

А потом он вспомнил озеро.

Это было неожиданно, как удар током. Воспоминание, которое он много лет гнал прочь, но которое упрямо хранилось где-то на задворках сознания. Ему восемь лет. Отец — трезвый, что само по себе было редкостью, — будит его ни свет ни заря и говорит: «Вставай, Сенька, на рыбалку поедem».

На рыбалку! С ним! Арсений помнил, как дрожали руки, когда он натягивал штаны. Как сердце колотилось где-то у горла. Он так хотел понравиться отцу в тот день. Так старался всё делать правильно — и червяка насаживать, и удочку забрасывать. А когда поплавок дернулся и ушел под воду, он дернул так, что маленький окунь вылетел из воды и забился на траве. Отец расхохотался — не зло, а тепло, по-доброму — и сказал: «Ну ты даешь, Сенька-мудрец. Первый улов!»

Они сидели на берегу до самого вечера. Пекли картошку в углях. Пили чай из термоса. И отец рассказывал — о войне, на которой воевал его дед, о заводе, о том, как познакомился с мамой. Обычные вещи. Но Арсений слушал, открыв рот, и чувствовал, что именно так и выглядит счастье. Не подарки, не конфеты, не развлечения — а просто быть рядом с отцом, когда он не кричит, не злится, а просто разговаривает с тобой как с равным.

Этот день больше никогда не повторился. Через неделю отец сорвался, напился, избил мать за то, что пересолила суп. И всё вернулось на круги своя. Но тот день — тот единственный день — застрял в памяти, как заноза. Как доказательство того, что где-то внутри Виктора Ильича жил другой человек. Человек, способный быть отцом. Человек, которому можно было бы сказать: «Папа, давай поговорим».

Арсений выбросил пустой стаканчик в урну и сел обратно в машину. Дождь начал стихать. Часы на приборной панели показывали 3:14. До рассвета оставалось еще несколько часов.

Он въехал в область, когда небо на востоке начало сереть. Знакомая до боли стела с гербом — шестеренка на фоне колосьев — встретила его облупившейся краской. Три прожектора из четырех не горели, и герб выглядел так, словно его бросили здесь умирать, как и всё остальное. Дорога сразу стала хуже — асфальт пошел волнами, на обочинах выросли кучи щебня, который обещали уложить еще в прошлом году, да так и не уложили.

Город спал. Редкие фонари освещали пустые улицы, облезлые фасады хрущевок, ржавые гаражи. Арсений проезжал знакомые места, и каждое отзывалось в памяти глухой болью. Вот здесь была булочная, куда он бегал за хлебом. Теперь — салон сотовой связи с облупившимся манекеном в витрине. Вот школа номер пять — забор перекрасили в веселенький оранжевый, но уродливая гипсовая скульптура пионера с горном перед входом так и стояла, только теперь без руки. Вот бывший кинотеатр «Октябрь» — когда-то он казался дворцом, а теперь это был просто бетонный ангар с вывеской «Автозапчасти».

Он свернул на улицу, где прошло его детство. Сердце забилося чаще. Дом номер четырнадцать стоял на прежнем месте — старая кирпичная пятиэтажка, которая когда-то считалась элитным жильем. Окна на третьем этаже были темны. Там, за этими окнами, прошли его семнадцать лет. Там он учил уроки под пьяные крики родителей. Там он впервые влюбился в одноклассницу и написал ей стихи, которые отец нашел и высмеял за ужином. Там он поклялся, что никогда, никогда не вернется.

И вот он здесь. Сорок два года. Успешный. Богатый. Одинокий.

Он не остановился. Просто сбавил ход, посмотрел на темные окна, и поехал дальше — к больнице. Внутренний монолог, который сопровождал его всю дорогу, внезапно стих. Мозг, переработав тысячи слов, выдохся и замолчал. В голове было пусто и гулко, как в заброшенном храме.

Областная клиническая больница номер один встретила его всё теми же запахами, что и двадцать лет назад, когда он приезжал сюда к умирающей матери. Хлорка. Карболка. Кислые щи из больничного буфета. Время здесь остановилось, застыло в густом, неподвижном киселе.

В вестибюле, под тусклой лампой, сидел охранник — пожилой мужик с отечным лицом и в застиранной форме. Он поднял глаза на Арсения, оценил его дорогую толстовку, сумку «Берлутти» — и равнодушно махнул рукой в сторону лестницы.

— Родственник к Стрельцову? — раздалось из окошка регистратуры. — Четвертый этаж, реанимация. Лифт не работает.

Разумеется, не работает. В этом городе не работало ничего. И двадцать лет назад, и сейчас. В этом была своя, уродливая логика — и она почти успокаивала. Потому что хоть что-то осталось неизменным.

Арсений ступил на лестницу. Ступени были выщерблены тысячами ног. Перила — выкрашены дешевой голубой краской, которая облезала кусками. Он шел медленно, смакуя каждую ступеньку, потому что знал: когда он поднимется — всё изменится. Закончится двадцатилетняя пауза. Закончится репетиция. Начнется реальность.

Четвертый этаж встретил его всё той же гулкой тишиной и длинным, уходящим в перспективу коридором. В конце его, под лампой дневного света, на дерматиновом стуле сидела крошечная фигурка. Женщина. Услышав шаги, она подняла голову, и Арсений узнал ее. Тетя Тома, соседка. Та самая, что когда-то угощала его пирожками, пока родители были на работе. Та самая, что вызывала милицию, когда отец в очередной раз устраивал дома погром. Она почти не изменилась — только ссохлась, побелела и стала как будто прозрачной, словно выцветшая фотография.

— Сенечка, — выдохнула она, и в этом выдохе было столько облегчения, словно его приезд мог что-то исправить. — Приехал. А я уж и не ждала... думала, не найдут тебя.

— Что с ним? — голос Арсения прозвучал сухо, почти грубо. Он сам услышал это и поморщился, но ничего не мог поделать — интонация включилась автоматически, защитная.

— Инсульт, Сеня. Обширный. Третий день уже. Врачи говорят — молитесь. — Она всхлипнула. — Я его в тот день встретила у подъезда. Он такой... потерянный был. Я говорю: «Виктор Ильич, вам бы к врачу», а он отмахнулся и сказал только: «Сыну не звоните, не надо ему». А я ослушалась. Не могла я так, Сень. Родная кровь — она не водица.

Родная кровь. Арсений смотрел на двойные металлические двери в конце коридора и чувствовал, как внутри что-то медленно проворачивается, словно ржавый механизм, который не запускали много лет. Он хотел спросить еще что-то — про врачей, про прогнозы, про то, мучается ли отец, но слова застревали в гортани. Он понял, что боится. Боится не того, что отец умрет — к этой мысли он готовил себя годами. А того, что отец умрет, так и не услышав ни одного слова из того самого, выстраданного монолога. Или, что еще хуже, — что он войдет туда и поймет: все эти слова были не нужны. Что дело было вовсе не в том, чтобы доказать, упрекнуть, победить.

— Спасибо, тетя Том, — выдавил он наконец. — Вы идите домой. Теперь я здесь.

Она закивала, засуетилась, стала собирать свои вещи. А Арсений сделал несколько шагов по коридору и остановился прямо перед двойными дверями с табличкой «Реанимационное отделение. Вход строго воспрещен».

Двадцать лет. Двадцать лет он вел этот разговор. Тысячи вариантов. Сотни интонаций. Он был красноречив, саркастичен, зол, презрителен, высокомерен — кем угодно, только не уязвимым. А теперь все эти слова казались ему пустой шелухой, налипшей на что-то простое и настоящее, что он боялся назвать даже про себя.

Он прижался лбом к холодному металлу. Сталь холодила кожу, отрезвляла. Где-то там, за этой дверью, лежал человек. Человек, который когда-то умел смеяться над пойманным окуньком и называть его «Сенькой-мудрецом». Человек, который где-то глубоко внутри, под коркой жестокости и водочного угара, может быть, даже любил его — просто не умел, не знал как, не был обучен. Человек, который был его отцом.

И если он сейчас умрет, то Арсений останется на этой земле совсем один. Не в бытовом смысле — в бытовом он и так был один. А в каком-то другом, глубинном. Потому что уйдет последний человек, который помнил его маленьким. Последний свидетель его детства. И тогда его прошлое окончательно превратится в миф, в который никто, кроме него самого, не верит.

Собравшись с духом, он нажал кнопку звонка. Где-то в недрах отделения раздался резкий, пронзительный писк. За дверью зашаркали шаги — тяжелые, неторопливые. Арсений выпрямился, одернул толстовку, пригладил волосы. Он делал всё это автоматически, словно готовился не к встрече с умирающим отцом, а к важным переговорам.

Замок щелкнул. Ручка дернулась. Дверь начала медленно открываться, впуская в коридор полосу неестественно белого, больничного света. В проеме показалась фигура в синем хирургическом костюме — невысокая женщина-врач с усталыми глазами и планшетом в руке.

— Вы к Стрельцову? — спросила она.

— Да. Я его сын.

— Проходите. Он без сознания, но вы можете побыть с ним. — Она отступила в сторону, пропуская его в святая святых. — Только недолго.

Арсений глубоко вздохнул и переступил порог. Дверь за ним закрылась с мягким, окончательным звуком, отрезая его от всего, что было раньше. Спектакль, который он репетировал двадцать лет, начался. Вот только все слова куда-то исчезли, растворились в белом свете реанимационных ламп. И он понял, что говорить их будет уже некому. Потому что человек, к которому он ехал через всю страну, через всю свою жизнь, через всю свою боль — этот человек, возможно, уже ушел. Ушел, так и не дождавшись самого важного разговора.

Глава 2. «Алфавит молчания»

Вопреки ожиданиям, в реанимации не пахло смертью. Пахло спиртом, хлоргексидином и ещё чем-то сладковато-химическим — так пахнут новые пластиковые окна, нагретые солнцем. Свет здесь был неестественно ярким, больничным, он выбеливал лица и предметы, лишал их теней и объёма. Арсений шагнул внутрь и на мгновение зажмурился, как человек, вышедший из тёмного кинозала на дневную улицу.

Палата оказалась небольшой — четыре койки, отгороженные друг от друга светло-зелёными ширмами. Две пустовали, на третьей лежал грузный старик с закрытыми глазами, опутанный проводами и трубками. Арсений на секунду задержал на нём взгляд — сердце пропустило удар, — но женщина-врач мягко тронула его за локоть и указала в дальний угол.

— Вы к Стрельцову. Он здесь.

И вот тогда Арсений увидел его. Увидел — и не узнал. Вернее, узнал, но с тем запозданием, с каким мозг собирает разрозненные черты в знакомое лицо, отказываясь верить собственным глазам.

На кровати, утопая в подушках, лежал старик. Именно старик — не пожилой мужчина, не «отец в возрасте», а старик, дряхлый и высохший, как осенний лист. Тот Виктор Ильич, которого помнил Арсений, был монументом — кряжистый, широкоплечий, с мощной шеей и руками, способными гнуть подковы. Тот Виктор Ильич занимал собой всё пространство, куда бы ни входил. От него пахло металлической стружкой, табаком и одеколоном «Тройной», которым он щедро поливал щёки после бритья. У него был зычный голос, разносящийся по всей квартире, и тяжёлая поступь, от которой дрожали половицы.

Этот же человек был невесом. Он лежал на больничной койке, укрытый до груди тонким казённым одеялом, и казался почти плоским, будто из него выпустили воздух. Лицо — серое, с восковым оттенком — заострилось, нос стал длиннее и тоньше, скулы выступили резко, как у покойника. Щетина на впалых щеках была совершенно седой, какой-то больничной, жалкой. Левая половина лица слегка обвисла, угол рта опустился, придавая выражению странную асимметричную гримасу — не то обиды, не то удивления.

Но самым страшным были глаза. Они были открыты и смотрели в потолок — мутные, выцветшие, некогда голубые, а теперь как будто разбавленные молоком. В них не было ни гнева, ни узнавания, ни мысли — только влажное, подёрнутое пеленой ничто. Зрачки плавали медленно, бесцельно, словно две маленькие рыбки в аквариуме с грязной водой.

Арсений остановился в двух шагах от кровати и почувствовал, как к горлу подкатывает ком — липкий, удушливый, совершенно неожиданный. Он готовился к чему угодно: к злости, к презрению, к торжеству, в конце концов. К тому, что войдёт и скажет наконец всё, что копилось двадцать лет. Но реальность обезоружила его, выбила из рук всё оружие. Как можно кричать на того, кто не может ответить? Как можно торжествовать над тем, кто уже побеждён — не тобой, а временем, болезнью, самой жизнью?

— Он слышит меня? — спросил Арсений, не оборачиваясь.

— Скорее всего, нет, — ответила врач, поправляя капельницу. — Сознание спутанное, глубокое оглушение. Иногда бывают периоды просветления, но редко и ненадолго. Вы можете поговорить с ним — это не повредит. Иногда они слышат. Иногда даже запоминают на каком-то глубинном уровне. А может, и нет. Мы мало знаем о том, что происходит в таком состоянии, если честно.

Она говорила что-то ещё — про показатели давления, про необходимость покоя, про то, что кризис миновал, но прогнозы делать рано, — но Арсений не слушал. Он стоял и смотрел на отца, пытаясь совместить в сознании два образа: того, прежнего, из памяти, и этого — беспомощного, утасяющего. Совместить не получалось. Они существовали в параллельных вселенных, разделённые не двадцатью годами молчания, а какой-то более фундаментальной пропастью.

Врач ушла, оставив его одного. Арсений огляделся, ища стул, и увидел его у стены — стандартный больничный стул с продавленным сиденьем, обтянутым коричневым дерматином. Он подтащил его к кровати, сел. Металлические ножки противно скрипнули по линолеуму. От этого звука веко Виктора Ильича дрогнуло — едва заметно, почти неуловимо, — но Арсений заметил.

— Пап, — сказал он тихо, пробуя слово на вкус.

Слово было незнакомым, чужим, как монета из давно исчезнувшей страны. Он не проносил его вслух двадцать лет. В разговорах с друзьями, с женщинами, с коллегами он говорил «отец» или «мой старик», если вообще приходилось затрагивать эту тему. Но «пап» — это было из детства. Из того времени, когда он ещё верил, что однажды всё наладится.

Виктор Ильич не ответил. Только веки дрогнули снова, и пальцы правой руки — той, что не была парализована — слабо шевельнулись поверх одеяла. Арсений посмотрел на эту руку. Широкая ладонь, узловатые пальцы с въевшейся в кожу металлической пылью — следы десятилетий работы на заводе. Ногти были нестриженные, с тёмными ободками. Почему-то именно эта деталь — неухоженные ногти — кольнула его сильнее всего. Отец всегда следил за руками. Как бы ни был пьян, как бы ни было тяжело на душе, он каждую пятницу подстригал ногти и чистил их специальной щёткой. Это был ритуал. Один из немногих, которые он соблюдал неукоснительно.

Арсений протянул руку и осторожно накрыл ладонь отца своей. Кожа была сухой и горячей, как бумага, нагретая солнцем. Пальцы не ответили на прикосновение, но и не отдернулись. Просто лежали безжизненным грузом, и в этом безволии было что-то противоестественное, как если бы камень вдруг стал мягким.

— Это я, — сказал Арсений, чувствуя, как голос предательски дрожит. — Сеня. Арсений. Приехал.

Тишина. Только писк кардиомонитора мерно отсчитывает секунды — короткие гудки, похожие на падающие капли. Арсений смотрел на экран, где зелёная линия вычерчивала неровные пики, и думал о том, что вся жизнь человека сводится вот к этому — к зубчатой кривой на чёрном экране. Есть пики — жив. Нет пиков — всё. Как просто. Как чудовищно просто.

Прошло пять минут. Или десять. Или полчаса — время в больничной палате течёт иначе, не подчиняясь законам физики. Арсений сидел, не выпуская руку отца, и молчал. Тот самый разговор, который он репетировал двадцать лет, рассыпался на молекулы, и собрать его заново не было никакой возможности. Все обвинения казались мелкими. Все аргументы — надуманными. Вся двадцатилетняя обида вдруг съёжилась до размера крошечной, почти незаметной точки где-то глубоко внутри.

— Врач сказала, тебе нужно пить, — произнёс он наконец, просто чтобы нарушить тишину, которая стала невыносимой.

На тумбочке стоял пластиковый стакан с водой и упаковка одноразовых трубочек. Арсений взял одну, надорвал упаковку, опустил в стакан. Поднёс к губам отца — осторожно, стараясь не задеть потрескавшуюся кожу. Губы были сухие, бледные, покрытые белесым налётом.

— Вот так, — сказал он, и Виктор Ильич, словно подчиняясь не столько сознанию, сколько какому-то древнему рефлексу, сделал слабое, едва заметное глотательное движение. Кадык дернулся. Капля воды скатилась по подбородку на подушку.

Арсений промокнул её краем простыни и вдруг поймал себя на мысли, что делает это совершенно естественно, без напряжения и брезгливости. Он, человек, который платил домработнице за то, чтобы она протирала пыль с его орхидей, сейчас сидел в обшарпанной больничной палате и вытирал слюну умирающему старику. И это не вызывало в нём ни протеста, ни отвращения. Только странное, почти медитативное спокойствие.

— Ты, наверное, хочешь пить, — продолжил он, потому что молчать было страшно, а говорить серьёзные вещи — невозможно. — Тут душно очень. Я форточку приоткрою, ладно? Ночью дождь был, сейчас свежо.

Он встал, подошёл к окну. Старая деревянная рама, крашенная белой краской, пошла вверх с трудом, с противным скрежетом. В палату ворвался влажный утренний воздух — пахло мокрой листвой, бензином от больничного пандуса и отдалённо, едва уловимо, речной водой. Город просыпался: где-то внизу затарахтел мотор, хлопнула дверца, женский голос прокричал что-то неразборчивое.

Арсений вернулся к кровати, поправил одеяло, подвернув край под матрас — так, как любила делать мама, когда он сам болел в детстве. Поправил подушку — осторожно, чтобы не потревожить голову отца. Налил свежую воду в стакан. Все эти мелкие, бессмысленные действия создавали иллюзию осмысленности. Иллюзию того, что он здесь нужен.

А потом он снова сел и стал смотреть на отца. И чем дольше он смотрел, тем отчётливее понимал: он не знает этого человека. Совсем. Они прожили под одной крышей семнадцать лет, они ели за одним столом, они даже ездили вместе на рыбалку — но он не знает его. Не знает, о чём отец думал по ночам, когда курил на кухне, уставившись в тёмное окно. Не знает, почему он так много пил и так мало говорил. Не знает, что он чувствовал, когда умирала мама. И тем более не знает, о чём он думал все эти двадцать лет в одиночестве, без сына, без семьи, в пустой квартире с фотографиями на стенах.

Однажды, классе в пятом, Арсений пришёл из школы с заданием по «Окружающему миру» — нужно было расспросить родителей об их детстве и написать небольшой доклад. Он

выбрал отца. Подошёл к нему после ужина с тетрадкой и ручкой и спросил: «Пап, а какое у тебя было самое счастливое воспоминание, когда ты был маленький?»

Отец посмотрел на него долгим, непонятым взглядом. В комнате повисла пауза — тяжёлая, как чугунная сковородка. А потом он сказал: «Счастливое? — и усмехнулся. — Да не было никакого счастливое. Детство — это не для счастья. Детство — это чтобы выжить и человеком стать. Иди уроки делай».

Арсений тогда обиделся. Ему казалось, что отец просто не хочет с ним разговаривать. Но теперь, сидя в больничной палате, он вдруг подумал: а что, если это было не грубостью? Что, если отец действительно не знал, что ответить? Что, если его собственное детство — послевоенное, голодное, с вечно работающей матерью и отцом, вернувшимся с фронта инвалидом, — действительно было лишено простых радостей? И он просто не умел их распознавать? Не умел их дарить?

Эта мысль была настолько неожиданной, что Арсений даже потряс головой, отгоняя её. Слишком удобно. Слишком просто. Нельзя списать всё на «тяжёлое детство». Но зерно сомнения уже было посеяно. И оно начинало прорастать.

Взгляд его упал на тумбочку. Там, рядом со стаканом и упаковкой трубочек, лежали личные вещи отца: старенький мобильник «Нокиа» с потрескавшимся экраном, ключи на брелоке в виде подковы и маленькая книжка в мягкой обложке. Арсений протянул руку и взял её. Это оказался сборник стихов местного поэта, изданный крошечным тиражом. На обложке — берёзовая роща и название: «Алфавит молчания».

Он раскрыл книгу наугад. Страницы были зачитаны до дыр, некоторые строчки подчёркнуты шариковой ручкой. Отец читал стихи. Его отец, который когда-то разломал кассету с «Наутилусом» и назвал его увлечение «голубятней», читал стихи. Местного, никому не известного поэта. И подчёркивал строчки.

Арсений прочитал то, что было подчёркнуто: «Мы говорим на разных языках, / Но оба знаем алфавит молчанья. / В нём тридцать три невысказанных «ах», / Тридцать три затаённых ожидания».

Он закрыл книгу и положил её обратно. Руки дрожали. Что-то переворачивалось внутри — медленно, тяжело, как контейнер в порту. Он снова посмотрел на отца, и впервые за много лет увидел не врага, не судию, не карателя — а просто старого, больного человека, который почему-то любил стихи про молчание.

И тогда он начал вспоминать. Не те воспоминания, которые он прокручивал в голове годами, оттачивая свою обиду, как нож. А другие — те, что были погребены под слоем боли и злости.

Он вспомнил, как ему было четыре года и они с отцом строили скворечник. Настоящий, деревянный, с круглым входом и жёрдочкой. Отец тогда работал на заводе до шести, а потом приходил домой, уставший, но всё равно шёл в гараж и мастерил. Арсений сидел рядом на корточках и подавал гвозди. Отец брал их из его маленькой ладошки своими огромными пальцами и говорил: «Держи крепче, Сенька. Гвоздь — он как слово: если криво забил, потом не выправишь».

И он вспомнил, как они вместе запускали воздушного змея на пустыре за гаражами. Змей был самодельный, склеенный из газеты «Правда» и тонких реек. Он долго не хотел взлетать, падал в пыль, цеплялся хвостом за бурьян. Арсений уже готов был разреветься от досады, но отец вдруг подхватил его на руки, поднял высоко над головой и крикнул: «Беги, сынок, беги!» И он побежал, спотыкаясь о кочки, размахивая рукой с катушкой, а змей, подхваченный ветром, вдруг взмыл в небо — высоко-высоко, к самым облакам. И отец смеялся — не зло, не с издевкой, а чисто и радостно, как ребёнок.

Этот смех. Когда Арсений слышал его в последний раз? Кажется, в тот самый день на рыбалке, в восемь лет. Потом что-то сломалось. Что-то неуловимое и хрупкое, что было между ними. Может быть, отец устал. Может быть, начались проблемы на заводе — девяностые, сокращения, невыплаты зарплат. Может быть, водка, которая из способа расслабиться превратилась в способ забыться. А может быть, Арсений просто вырос настолько, что перестал быть удобным — перестал подавать гвозди и запускать змеев, а начал задавать вопросы, спорить, бунтовать. И отец не знал, что с этим делать. Не умел. Не был обучен.

Где-то в глубине души, в том месте, которое он обычно запирает на сто замков, Арсений знал правду. Самую страшную и самую простую. Его отец не был чудовищем. Он был просто сломанным человеком. Как и сам Арсений. Как и многие вокруг. Разница была лишь в том, что Арсений сломался красиво — в дорогой квартире, с дорогим вином и карьерным успехом. А отец сломался безобразно — в провинциальной хрущёвке, с дешёвой водкой и одиночеством.

Но итог-то один. Оба — одиноки. Оба — молчат. Оба — не умеют говорить о главном.

Писк кардиомонитора изменил ритм. Арсений вздрогнул и поднял голову. Зелёная линия на экране задергалась чаще, зубцы стали выше и резче. Он посмотрел на отца и увидел, что его глаза — те самые мутные, невидящие глаза — вдруг сфокусировались. Зрачки перестали плавать, они замерли, упёрлись в лицо Арсения с каким-то напряжённым, почти мучительным вниманием.

— Пап? — позвал Арсений, и голос его дал петуха, как у подростка.

Губы Виктора Ильича дрогнули. Левая половина лица осталась неподвижной, но правая пришла в движение — медленное, неловкое, словно мышцы забыли, как работать. Он попытался что-то сказать. Воздух с хрипом выходил из горла, но не складывался в звуки. Только невнятное, булькающее «гххх…» вырвалось изо рта вместе с капелькой слюны.

— Тише, тише, не надо, — Арсений подался вперёд, схватил его за руку. — Тебе нельзя напрягаться. Врач сказала — покой.

Но отец не успокаивался. Его здоровая рука вдруг сжалась с неожиданной силой, пальцы вцепились в ладонь Арсения, как утопающий хватается за брошенный круг. Глаза — теперь уже почти осмысленные, живые — впились в лицо сына. В них было столько всего: боль, страх, отчаяние, мольба. И что-то ещё, чему Арсений не мог подобрать названия. Может быть, любовь. Та самая, которую они оба так старательно прятали двадцать лет.

— Я здесь, пап. Я приехал, — повторил Арсений, уже не зная, слышит ли его отец, понимает ли. — Я не уйду. Я рядом.

И Виктор Ильич, словно услышав эти слова, вдруг обмяк. Напряжение ушло из его тела, рука ослабла, но не разжалась. Глаза снова затуманились и уплыли в сторону — в тот самый неподвижный больничный потолок, который он изучал, кажется, уже целую вечность. Но что-то изменилось. На его лице — на этой восковой маске, так мало похожей на прежнего отца, — появилось выражение, которое Арсений не видел никогда. Выражение покоя.

Он продолжал сидеть, держа отца за руку, и молчал. Но теперь это было другое молчание. Не то, что раньше, — тяжёлое, запечатанное, полное невысказанных обид. Теперь оно было наполнено присутствием. Тихим, спокойным, почти мирным. Словно они наконец-то начали говорить на том самом языке, о котором писал поэт в тонкой книжке. На языке алфавита молчания.

За окном занимался рассвет. Первые лучи солнца пробились сквозь больничный тополь и упали на пол косыми золотыми квадратами. Где-то внизу засвистел чайник. Запахло кашей — в больничном буфете начинали готовить завтрак. Мир просыпался и продолжал двигаться вперёд, не замечая того, что в палате номер четыре только что произошло нечто огромное. Два человека, разделённые двадцатью годами молчания, впервые за долгое время сидели вместе. И хотя один из них, возможно, даже не осознавал этого — другой осознавал. И этого было достаточно.

Глава 3. «Слова, которых не было»

На третий день Арсений поймал себя на мысли, что начинает обживаться в больнице. Это было странное, почти пугающее чувство — как если бы дикий зверь вдруг обнаружил, что клетка стала уютной. Он уже знал распорядок: в семь утра приходила медсестра Зинаида, грузная женщина с вечно недовольным лицом, но удивительно ловкими руками, и делала отцу уколы. В восемь приносили жидкую овсянку, которую Виктор Ильич не ел, и Арсений часами уговаривал его проглотить хотя бы пару ложек. В десять начинался обход, и молодой врач с фамилией Комаров, похожий на студента-старшекурсника, рассказывал что-то про динамику, про стволые структуры мозга и необходимость терпения. Арсений слушал его вполуха, потому что главное — зелёная линия на мониторе — продолжала рисовать свои пики, и это означало, что отец жив.

Он даже обустроил себе некое подобие быта. В углу палаты, на стуле, который медсестра выделила ему лично, лежала его сумка «Берлути», выглядевшая здесь чужеродно, как космический корабль на крестьянском дворе. Рядом стоял термос с кофе, который он покупал в буфете на первом этаже. Кофе был отвратительный — растворимый, с комками неразмешанного порошка, — но Арсений пил его литрами, потому что это создавало иллюзию контроля. Утро. Кофе. Работа. Привычный ритуал, который помогал не думать о том, что его жизнь, ещё неделю назад расписанная по минутам, превратилась в бесконечное сидение у больничной койки.

Он даже начал работать из палаты. Благо мобильный интернет здесь, на удивление, ловил. Прямо здесь, под писк кардиомонитора и храп старика с соседней койки, он провёл две планёрки по зуму, стараясь говорить тихо, но твёрдо. Партнёры недоумевали, куда он пропал. Клиенты нервничали. Его заместитель, молодой и амбициозный Егор, слал сообщения с пометкой «срочно», на которые Арсений отвечал коротко: «Сам». Он не хотел объяснять. Не хотел рассказывать, что сидит в реанимации с отцом, которого двадцать лет называл мёртвым для себя. Это звучало бы слишком сентиментально, слишком по-человечески.

Но работа не спасала. Она лишь отвлекала на короткие промежутки, а потом мысли возвращались к одному и тому же. К человеку на кровати. К его руке, которая иногда, в редкие моменты просветления, сжимала пальцы Арсения с какой-то отчаянной, почти судорожной силой. К его глазам, которые то уплывали в небытие, то вдруг фокусировались на лице сына с выражением, похожим на немой вопрос.

Именно в один из таких моментов — когда Виктор Ильич вдруг открыл глаза и посмотрел осмысленно, почти трезво, — Арсений решился. Он понял: если не сейчас, то никогда. Если он не скажет то, что копилось двадцать лет, оно так и останется внутри — гнить, отравлять, пожирать его изнутри. Он больше не мог ждать. Он должен был попытаться.

— Пап, — начал он, и голос его прозвучал глухо, словно сквозь вату. — Пап, я хочу поговорить. По-настоящему. Не про погоду, не про кашу. Про нас.

Виктор Ильич лежал неподвижно, но его правая рука, лежавшая поверх одеяла, едва заметно дрогнула. Зрачки сузились, сфокусировались на лице Арсения. В них промелькнуло

что-то — тень, отблеск, мгновенное узнавание, — и тут же исчезло, словно захлопнулась внутренняя дверь.

— Оставь, — прошелестел он одними губами. Голос был слабый, надтреснутый, совсем не тот командирский бас, который когда-то сотрясал стены их квартиры. — Не сейчас, Сень. Не надо.

Арсений почувствовал, как внутри что-то сжалось. Не сейчас. Эта фраза была старой, как сам мир. Они говорили её друг другу годами. «Не сейчас, пап, я устал». «Не сейчас, сын, я занят». «Не сейчас, давай потом». И вот теперь это «потом» сократилось до размеров больничной палаты, до расстояния между жизнью и смертью, а «не сейчас» продолжало звучать, как заезженная пластинка.

— А когда? — спросил он, и в голосе его прозвучала сталь. Та самая, которую он выработал на переговорах, когда нужно было дожать оппонента. — Когда будет «сейчас», пап? Когда ты умрёшь? Когда будет поздно?

Отец закрыл глаза. Это было его излюбленным приёмом — уходить в молчание, притворяться спящим, отключаться от реальности, которая ему не нравилась. Арсений помнил это с детства. Стоило завести разговор о чём-то важном, о чём-то, что требовало эмоционального включения, — и отец либо взрывался гневом, либо замыкался в глухой раковине молчания. Третьего не было.

— Ты всегда так делаешь, — Арсений встал со стула и прошёлся по палате, стараясь унять дрожь в руках. — Всегда. Двадцать лет я ждал. Думал, вот сейчас, вот в следующий раз... Может быть, когда я приеду на похороны мамы? Но ты и тогда не говорил. Мы стояли по разные стороны могилы, как два памятника, и молчали. Помнишь?

Молчание. Только писк кардиомонитора — частый, тревожный. Арсений взглянул на экран: пульс отца подскочил. Значит, он слышит. Значит, реагирует. Это открытие придало ему сил — и одновременно испугало. Он не хотел убить его своим разговором. Но и молчать больше не мог.

— Знаешь, что самое смешное? — продолжал он, меряя шагами крошечное пространство между кроватью и окном. — Я ведь стал тем, кем ты меня хотел видеть. Нет, не слесарем. Не работягой. Но — сильным. Я выжил, пап. Я доказал. У меня всё есть: деньги, статус, уважение. Знаешь, сколько людей хотят пожать мне руку? А я стою и думаю: зачем мне всё это, если ты никогда не скажешь, что гордишься мной?

Он остановился и посмотрел на отца. Тот лежал с закрытыми глазами, но веки дрожали — мелкой, нервной дрожью, выдававшей напряжение. Губы сжались в тонкую линию. Пальцы на здоровой руке скребли одеяло, сминая ткань.

— Ты можешь сказать это сейчас? — спросил Арсений тише, почти шёпотом. — Можешь просто сказать: «Сын, я был неправ»? Или «Я горжусь тобой»? Или хотя бы «Прости»? Три слова, пап. Всего три слова.

Тишина. Долгая, вязкая, как патока. Старик с соседней койки закашлял во сне. За дверью слышались шаги медсестры, но они прошли мимо. Виктор Ильич открыл глаза — и в них, впервые за эти дни, Арсений увидел не туман, не пелену, а что-то острое, почти враждебное.

— Ты... всё такой же, — прохрипел отец, и каждое слово давалось ему с видимым усилием. — Всё тебе... слова. Слова, слова... А слова — это шелуха. Ветер. Ты жизнь прожил... а так и не понял.

— Что не понял? — Арсений шагнул ближе. — Что я должен был понять, пап? Что ты меня никогда не слышал? Что я был для тебя пустым местом? Что ты уничтожал всё, что мне дорого?

— Хватит, — выдохнул Виктор Ильич и отвернул голову к стене.

И тогда Арсений взорвался. Он сам не ожидал от себя этого — думал, что научился контролировать эмоции, что двадцать лет работы над собой не прошли даром. Но сейчас, в этой палате, перед лицом упрямого, молчаливого старика, который и на пороге смерти не желал говорить, — он снова стал пятнадцатилетним мальчишкой. Тем самым, который стоял посреди кухни с разбитым сердцем и сжимал в руке то, что осталось от его веры в справедливость.

— Почему ты всегда молчишь? — крикнул он, уже не заботясь о том, что их могут услышать. — Почему тебе проще закрыться, чем поговорить со мной? Я твой сын! Я приехал сюда через полстраны, чтобы увидеть тебя! А ты лежишь и делаешь вид, что ничего не случилось! Как всегда!

Виктор Ильич не ответил. Только плечи его напряглись, а дыхание стало чаще и тяжелее. Кардиомонитор запищал тревожнее. Арсений понял, что перегибает, что нужно остановиться, но слова уже неслись потоком — те самые слова, которых не было двадцать лет и которые теперь наконец-то находили выход.

— Знаешь, что было самым страшным? — продолжал он, понижая голос до свистящего шёпота. — Не то, что ты пил. Не то, что бил меня. Не то, что уничтожал мои кассеты и книги. Самым страшным было то, что я тебе верил. Каждый раз верил. Каждый раз думал: может быть, сегодня он посмотрит на меня по-другому. Может быть, сегодня он скажет: «Сынок, я тебя люблю». Я ждал этого, пап. Каждый день ждал. А ты...

Он осёкся. В горле встал ком, твёрдый и колючий, как еловая шишка. Арсений отвернулся к окну и стал смотреть на больничный двор, на покосившуюся скамейку, на старый тополь, с которого облетал жёлтый лист. Он часто дышал, пытаясь успокоиться, но внутри всё кипело и бурлило.

За его спиной было тихо. Только писк приборов да собственное сердце, грохочущее в ушах. Он ждал хоть какого-то ответа. Хоть одного слова. Хоть стоны. Но слышал только молчание — то самое глухое, непробиваемое молчание, которое было единственным языком, на котором его отец умел говорить.

Тогда, не оборачиваясь, Арсений начал вспоминать. Не те воспоминания, которые он перебирал в дороге, — не про разбитую банку с вареньем, не про сломанную кассету. А то, самое главное, о чём он не позволял себе думать даже наедине с собой.

Ему было пятнадцать. Это был переломный год — время, когда мальчик превращается в юношу, когда мир расширяется до бесконечности и одновременно сжимается до точки собственного «я». Арсений тогда был тощим, угловатым подростком с вечно падающей на глаза чёлкой и прыщами на подбородке. Он носил растянутые свитера, купленные мамой на рынке, и мечтал о джинсах-«варенках», как у Витьки из параллельного класса. Он писал стихи в общую тетрадь и прятал её под матрацем. Он влюбился в девочку из соседнего подъезда и страдал от того, что она не замечает его.

И ещё он начал заикаться. Это случилось как-то вдруг, без видимой причины. Просто однажды утром он проснулся и понял, что не может произнести простое слово «здравствуйте» — оно застревало где-то в гортани, билось, как птица о стекло, и выходило наружу жалким, скомканным звуком. Школьный логопед разводила руками. Врачи говорили про переходный возраст и нервную систему. А одноклассники, разумеется, нашли новый повод для насмешек.

Отец заикания не понимал. Вернее, понимал по-своему.

— Что ты мямлишь, как debil? — говорил он, когда Арсений не мог выговорить фразу за ужином. — Говори чётко! Ты мужик или кто?

Арсений старался. Он репетировал слова перед зеркалом. Он читал вслух стихи, когда дома никого не было. Он пытался контролировать дыхание, как советовали в книжке, которую он тайком взял в библиотеке. Но в присутствии отца всё становилось только хуже. Страх сковывал горло сильнее, чем любой логопедический дефект.

И вот однажды случилось то, что перерубило их связь окончательно. То, о чём Арсений не рассказывал никому — ни друзьям, ни женщинам, ни даже психотерапевту, к которому ходил три сеанса.

Был вечер. Зимний, тёмный, с завыванием ветра в трубах. Отец вернулся с работы пьяным — не в стельку, но достаточно, чтобы быть опасным. Мамы дома не было: она дежурила в ночную смену на почте. Арсений сидел на кухне и пытался делать уроки. Перед ним лежало задание по литературе — нужно было выучить наизусть отрывок из «Евгения Онегина» и рассказать на следующий день перед классом.

Он знал этот отрывок. Он выучил его, он мог прочесть его про себя, он чувствовал ритм и музыку пушкинских строк. Но когда он попытался произнести их вслух — слова застряли. «Мой дядя самых честных правил...» — начинал он и замирал, не в силах вытолкнуть следующее слово. Он пробовал снова и снова, пока от напряжения не заболела челюсть.

Отец сидел напротив, курил и смотрел на него мутными глазами.

— Ну, — сказал он наконец, — чего замолчал? Валяй.

— Я... я не могу, пап. Не могу.

Отец усмехнулся. Поднялся со стула — тяжело, грузно. Подошёл к Арсению, навис над ним, заполняя собой всё пространство. От него пахло водкой и табаком.

— Не можешь? — переспросил он. — А чего ты можешь? Стишки сочинять? Мечтать о хрен знает чём? А сказать нормально, как мужик, — не можешь?

— Пап, пожалуйста... — Арсений вжался в стул.

— «Пап, пожалуйста», — передразнил отец, кривляясь. — Ты позорище, а не сын. У всех дети как дети, а у меня — не пойми что. Ни рыба ни мясо. Тьфу.

Арсений опустил голову. Из глаз потекли слёзы — горячие, горькие, которые он не мог остановить. Он ненавидел себя за эти слёзы. Он ненавидел отца. Он ненавидел всё на свете.

А потом отец взял его тетрадь со стихами. Ту самую, что лежала на краю стола. Арсений не успел спрятать её, потому что не ждал, что отец зайдёт на кухню. Тетрадь была потрёпанная, с загнутыми уголками, исписанная корявым, летящим почерком.

— А это что у нас? — отец раскрыл тетрадь и начал листать. — «Осенний вальс», «Письмо к себе», «Когда уходит свет»... Твоё?

— Отдай! — Арсений вскочил со стула. — Это моё, отдай!

Он попытался выхватить тетрадь, но отец легко оттолкнул его свободной рукой. Пятнадцатилетний подросток не мог тягаться с взрослым мужчиной, пусть и пьяным.

— «Когда уходит свет, остаётся только эхо...» — прочитал отец с издевательской интонацией. — Ну надо же. Поэт. Пушкин доморощенный. И что, ты думаешь, кому-то нужны твои сопли на бумаге?

— Тебе-то какая разница? — закричал Арсений. — Это моё! Не твоё! Ты вообще ничего не понимаешь!

В следующую секунду произошло то, чего он не ожидал даже от пьяного отца. Виктор Ильич открыл дверцу печки — старой, чугунной, которая грела их кухню, — и швырнул тетрадь в огонь.

Арсений закричал. Это был не крик даже — вой, звериный, отчаянный, какой издаёт раненое животное. Он бросился к печке, но отец загородил дорогу. Он пытался прорваться, царапался, бил кулаками по железной груди, но отец стоял неподвижно, как скала.

— Нечего тебе этой ерундой маяться, — сказал он, когда страницы вспыхнули и начали сворачиваться в чёрные трубочки. — Иди лучше физику учи. Или гантели подними. Может, человеком станешь.

Арсений перестал бороться и замер. Он смотрел, как пламя пожирает его стихи — те самые, которые он писал по ночам, прячась под одеялом с фонариком. Слова, в которые он вкладывал всё, что не мог сказать вслух. Мечты, которым он доверял бумаге, потому что больше доверять было некому. Всё это исчезало в огне, превращалось в пепел, в ничто.

И в этот момент в нём что-то умерло. Не любовь к отцу — она умерла раньше. А надежда. Та самая глупая, детская надежда, что однажды отец поймёт его, примет, полюбит. Она сгорела вместе с тетрадью, и больше никогда не возродилась.

С тех пор он перестал ждать. Перестал репетировать слова. Перестал надеяться, что разговор состоится. Он просто замкнулся в себе, как улитка в раковине, и начал готовиться к побегу. Побегу, который занял ещё два года, но который стал неизбежным в тот самый вечер, когда его стихи превратились в пепел.

Теперь, двадцать семь лет спустя, он стоял у больничного окна и смотрел на пожелтевший тополь. За спиной, в четырёх шагах от него, лежал тот самый человек. Постаревший, ослабевший, полупарализованный. Человек, который, возможно, умирал. И Арсений хотел — отчаянно, почти до боли — ненавидеть его. Но ненависть утекала, как вода сквозь пальцы, оставляя после себя только усталость и пустоту.

— Я хотел тебя ненавидеть, — сказал он тихо, не оборачиваясь. — Двадцать лет я строил свою жизнь на ненависти к тебе. Каждый успех был плевром в твою сторону. Каждая победа — доказательством, что ты был не прав. Я думал, что так я выиграю. Что так я отомщу. А теперь ты лежишь здесь, и я понимаю, что ничего не выиграл. Что мы оба проиграли. Что всё это было...

Он замолчал, подбирая слово.

— ...бессмысленно, — закончил он и повернулся к отцу.

Виктор Ильич лежал на спине и смотрел в потолок. Но теперь в его глазах не было ни вражды, ни упрямства. Только влажный блеск, похожий на слёзы — хотя, возможно, это был просто рефлекс, реакция на сухой больничный воздух. Его здоровая рука лежала поверх одеяла, ладонью вверх, словно прося что-то. Или ожидая.

Арсений подошёл и взял эту руку в свою. Пальцы отца были холодными — такими холодными, что он испугался.

— Пап? — позвал он, сжимая ладонь. — Пап, ты слышишь меня?

Веки Виктора Ильича дрогнули. Губы шевельнулись, но не произнесли ни звука — только слабое, почти невесомое дыхание вырвалось наружу. А потом его пальцы, те самые узловатые пальцы с чёрными ободками под ногтями, слабо, почти незаметно сжали ладонь Арсения в ответ.

И это было больше, чем слова. Больше, чем всё, что они не сказали друг другу за двадцать лет. Это было единственное, на что отец был способен сейчас, — крошечный жест, почти невольный, почти рефлекторный, но всё-таки адресованный ему. Ему одному.

Арсений стоял, держа отца за руку, и чувствовал, как по щекам текут слёзы — такие же горячие и горькие, как тогда, в пятнадцать лет. Но теперь он не пытался их остановить. Он просто стоял и плакал, глядя на человека, который когда-то сжёг его тетрадь, а теперь сам догорал, как последняя страница.

Разговор не состоялся. Все слова, которых не было, так и остались несказанными. Но в этом пожатии, в этом слабом, умирающем прикосновении, было что-то такое, чего Арсений не мог выразить словами. Может быть, именно это отец и называл «жизнью» — то, что нельзя

сказать, но можно почувствовать. То, что не вмещается в алфавит, но существует за его пределами.

Он простоял так до самого вечера. Пока не зашла медсестра и не сказала, что время посещения закончилось. Пока не зажглись фонари за окном. Пока не стало ясно, что сегодня важный разговор не случится — как не случался он все предыдущие двадцать лет. Но сегодня впервые в этом молчании не было холода. Сегодня в нём было что-то новое. Что-то, похожее на начало.

Глава 4. «Артефакты прошлого»

Ключи лежали в кармане его куртки уже третий день — старенькая «Нокиа» с потрескавшимся экраном, брелок в виде подковы и связка из трёх ключей на потёртом кожаном кольце. Медсестра Зинаида отдала их Арсению в первое же утро, когда он, осунувшийся и небритый, снова появился в дверях реанимации.

— Вещи вашего отца, — сказала она, высыпая ему в ладонь это нехитрое наследство. — Телефон, ключи, книжка какая-то. Заберите, а то потеряется.

Книжку — тот самый сборник стихов «Алфавит молчания» — он уже пролистал. А ключи так и лежали в кармане, оттягивая ткань и напоминая о себе каждым движением. Арсений не хотел ехать в отцовскую квартиру. Он откладывал это, находя десятки отговорок: нужно быть рядом с отцом, нужно отвечать на рабочие письма, нужно поспать хотя бы пару часов. Но на четвёртый день отговорки кончились, и он понял, что больше тянуть нельзя.

В конце концов, ему нужна была чистая одежда. И нормальный душ. И хотя бы несколько часов сна в горизонтальном положении, а не сидя на продавленном больничном стуле. Он сказал себе, что едет именно за этим, — и почти поверил. Но где-то глубоко внутри, в том месте, куда он редко заглядывал, он знал правду: ему нужно увидеть эту квартиру. Нужно войти в пространство, где его отец прожил последние двадцать лет в одиночестве. Нужно понять, кем он был всё это время. Понять, кого он, Арсений, на самом деле ненавидел все эти годы — и кого он сейчас пытается спасти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.